

В ЛЮБВИ нашей к Пушкину, конечно, все-го много. И, конечно, она давно уже больше говорит о нас, чем о нем. Наше узнавание его есть не что иное, как род воспоминаний, именно воспоминаний, как о современнике, как о родном, как о любимом, как о реальном для нас человеке. Каждый русский вызывает его дух, и дух этот не устает к нам являться. Вплоть до воплощения, до ощущения, что он рядом, до желания обернуться.

Одно из таких воспоминаний всегда преследовало меня. Это его последний текст. Последнее, что досталось нам на осмысление и рассмотрение из написанного его рукою. Записка редактора к сотруднице — с дежурными извинениями и комплиментами: заинтересованность заказчика, не более.

С ДЕРЖАВИНСКОЙ «Ретки времени», так и непревзойденной, мы следим за последними стихотворениями: «С тех пор как вечный судия...», «До свиданья, друг мой, до свиданья...», «как говорят инцидент исперчен...» — эти напутствия и прощания

нам убедительная Пушкин, сидящий на сугробе и смотрящий в сторону а ожидания, пока секунданты и Дантес вытпывают в снегу площадку для дуэли. — сцена, описанная тем же Жуковским с безукоризненной скрупулезностью, подробностью, о которой действительно, невозможно читать без слез.

Возможно, письмо Ишимовой и не бередило бы меня до такой степени, кабы не одна вполне сложившаяся, вполне интеллектуальная и даже обоснованная точка зрения на трагический конец нашего поэта, а именно: что Пушкин полностью выполнил свое назначение, за границами которого жизни ему уже не оставалось, и тем или иным способом конец ему был сужден, что с объективной точки зрения он естествен — не так, как еще каки-нибудь. И впрямь, Пушкин — единственный, про кого можно сказать, что он исполнил свое назначение полностью, что здание его подведено под крышу (со шпилем «Памятника», если крыше уподобить «Медного всадника...»). И это совпало с моей выношенной убежденностью в совершенном единстве всего творчества и судьбы, как ни в ком, воплотившемся в Пушкине. Хотя все протестовало во мне чисто почеловечески с этим снисходительным разрешением ему умереть. Будто его еще и еще раз

нам забытые сведения из оптики и акустики.

Можно полагать, что пушкинское «поведение», так различно воспринимавшееся, есть в значительной степени реактивное сопротивление искажению собственного образа в чужом восприятии. Бесплезно пытаться быть понятым, если к вам подходит с меркой. Живому мерка никогда не подойдет. Пушкину неинтересно и некогда исполнять роль или «кнести образ»... В жизни, в поведении он как бы творит пародию — не на себя, а на восприятие себя и вообще на человеческое восприятие. И потому, кажется, в воспоминаниях о Пушкине не искажают его образ лишь мифы, лишь противоречия рассказчиков — они куда точнее попытки серьезных характеристик.

Анекдоты о суевериях Пушкина дают нам материал, крайне важный для осмысления его трагического конца. И зацп, в декабре 1825 года повернувшись его сани обратно с дороги, которая его привела бы не столько в Петербург, сколько в Сибирь; и перстень («Талисман») и целый свадебный шлейф примет — гаснущая свеча, ладанная крестом с аналоя, лутаница с шаферами... и предсказание немецкой гадалки, так или иначе сбывавшееся и сбывшееся («смерть на 37-м году от «белой головы»), — программа на все двадцать его последних лет...

дущее. И, пожалуй, почти столько же свидетельств мы найдем в оппозицию первым: о том, что Пушкин мог бы еще жить и работать, и долго...

Просто дело не в том, что Пушкин не мог больше жить, а в том, что он не мог ТАК жить. Его героическое усилие не истощить и не исказить судьбу закончилось так, что уже не судьба, а люди поставили его перед неизбежностью поступка, и «зайцы» тут уже не могли помочь. Его вызов и его выбор грозили ему гибелью, и он это создавал и шел на это. Но ставкой его было не просто остаться в живых и даже не возрождении, а — ДРУГАЯ ЖИЗНЬ. Он таил в себе надежду проскочить между жизнью и смертью, пройти через это игольное ушко, верил в счастье второго рождения. Независимо от этого дуэли ТОТ Пушкин должен был умереть, ТОТ все сделал ТОТ сохранил цельность и непрерывность жизни, творчества и судьбы, растянув это единство и наполнив его до предела, и ТОТ же Пушкин — не мог больше... ЭТОТ Пушкин намеревался жить, коли жизнь ему будет дарована. Между жаждой жить и готовностью к смерти здесь нет противоречия; в правильной жизни его и не должно наблюдаться.

И письмо к Ишимовой становится тогда понятным. ЭТОТ, тот ли Пушкин уповают на жизнь, а не на смерть. Смертельный исход не страшит, потому что так жить невозможно: три года беспросветного терпения не дали результата. Судьба его тащилась волоком. Пушкин решился. Он доверил выбор промыслу, сам поставил Судьбу в безвыходное положение («За несколько дней до смерти... он говорил со мною о судьбах Промысла...» — П. А. Плетнев), готовясь принять тот, но, что и важно, и другой исход. Пушкин — весел. Он и раньше не страдал смертным грехом уныния. И письмо Ишимовой тогда играет роль приметы, тут же им изобретенной: он пишет его так, что он вернется. И выходит, Жуковский отчасти прав, что письмо писано «с такою беззаботностью», — но «беззаботность» эта продуманна. Любопытно, что следом за письмом он пренебрегает другой приметой, которой всегда неукоснительно следовал: «Часто, собравшись ехать по какому-нибудь неотложному делу, он приказывал отпрягать тройку, уже поданную к поезду, и откладывая необходимую поездку из-за того только, что кто-нибудь из домашних или прислуги врубал ему какую-нибудь забытую вещь вроде носового платка, часов и т. п. В этих случаях он ни шагу уже не делал из дома...» Но вот, написав это ничего не значащее письмо, отринув искус оставив нечто более ценное для потомков на случай смертельного исхода — стихотворение ли, записку... — он «начал одеваться; вымылся, весь, все чисто; велел подать бекеш; вышел на лестницу. Возвратился (выделено мной. — А. Б.), велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика».

Посмотрел ли он в зеркало? Плуял ли три раза через плечо? Или забыл? Или не стал?.. А не написал ли он именно в этот момент записку Ишимовой?.. А не вернулся ли он нарочно, чтобы, переломив примету, развернуть и Судьбу?.. В конце концов, нам ничего не известно. Представим только, что, ожидая, когда ему принесут шубу, он еще раз (в последний) был наедине с самим собою.

Е ГО ПОЗДНЯЯ, «запретельная», как мы позволяли себе выразиться, лирика приоткрывает нам отчасти завесу, и мы смутно различаем в перспективе другого Пушкина, на которого тот Пушкин уповал. Думаю, что он, суеверно же, избегал воображать себе другую жизнь, даже отдалял от себя это представление, ограничиваясь верой в него, не желая его, что ли, истрепать. Так недописано «Пора, мой друг, пора!» — стихотворение с гениальным разбегом вдруг оборвано торпильной прозаической запиской для памяти: «... в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть». Etc... словно Пушкин сам поспешил отвернуться от отчетливо представшего перед ним образа: еще не пора...

Вот чья-то дневниковая запись со слов Гоголя: «И силы телесные... были таковы, что их достало бы у него на девяносто лет жизни (поручкой тому долготелее его потомков. — А. Б.). Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой...»

Да и «Медный всадник», наряду с поздней лирикой так и оставшийся в его столе, — бесспорно вершинное его создание — это как посматреть... так ли уж он замыкает «Купол», возводимый всю жизнь Пушкиным? А может, наоборот, открывает дорогу? Дуализм человеческого сознания (кстати, не преодоленный и в полифонию Достоевского, все равно сводящейся к дуализму самого автора) впервые в литературе был преодолен Пушкиным — так не мог ли другой Пушкин уже начинать с этого? Это непредположимо. Мы и этого-то Пушкина не умещаем в сознание. Но чем больше я не могу понять, зачем же он написал эту необязательную записку в конце пути, тем больше осознаю, что сам Пушкин отнюдь не склонен был превратить свое творчество в замкнутую систему, что перед лицом судьбы он оставил свой контур разомкнутым, прекрасно сознавая, что делает.

Андрей БИТОВ

ПОСЛЕДНИЙ ТЕКСТ

трагически уходивших поэтов, конечно, производят сильное впечатление. Последний текст, олицетворяющий собою единство Музы и Судьбы, кажется особенно важным. Чем теснее ощущаем мы это единство, тем больше оказывается и поэт.

И только с Пушкиным, единственным автором, все известные тексты которого были мною читаны и перечитаны, так и не складывалось у меня подобной завершенности. Хотя если говорить не только о естественности единства всего творчества, но и о «заботливости» поэта о нем, именно Пушкин служил этому единству с наибольшей последовательностью и даже, как теперь бы сказали, «сознательностью». Единство пушкинского творчества — отдельная и неисчерпаемая тема, здесь можно лишь упомянуть о том, что такое оно не только имело место, но и поддерживалось постоянным напряжением пушкинского духа: сличение черного материала с беловым текстом дает отчетливый образ этого усилия, отнюдь не связанный с большей или меньшей удачностью строки или строфы. Читая волшебные строфы, навсегда вычеркнутые из окончательного текста, приходишь в такое недоумение и непонимание, что справиться с ним удается лишь признав, хотя так и не разгадав, наличие сверхзадачи. Щедрость, с какой мог вычеркнуть Пушкин, ни с чем не сравнима. Сравнима она лишь со скупостью. Или — откровенно («заботливость» здесь будет мягко сказано). В отношении к единству, коему лишь им одним до конца достигнутому целому Пушкин так же аскетичен, как щедр в строке. Золото его — наивысшей пробы, но ему ведется счет. Пушкин скуп на дисгармонию в поэзии, как и на формальные проявления в жизни (он так же щедро тратил время на жизнь, как дар свой — на поэзию, и так же яростно скупал от нежизни, как строго изгонял дисгармонию). И вот, убедившись в том, что гармония — это отнюдь не только свойство, но и работа, но и жертва, но и подвиг, с неисчезающим недоумением перечитывал я последние оставшиеся от него строки, пусть формально, но стоящие в конце всего его текста: «Вот как надобно писать!»

Если буквально принять эти слова как напутствие, то всем нам, оставшимся после него в живых, следует писать, как детская писательница А. О. Ишимова. Полагаю, что она была культурной женщиной и светлая личность. Но этого как бы мало.

По свидетельству В. А. Жуковского, это письмо Ишимовой написано «за час перед тем, как ему ехать стреляться». В письме Жуковского отцу поэта о подробностях дуэли и смерти факту этому придается однозначное-благоприятное толкование. «Это письмо есть памятник удивительной силы духа (что, бесспорно, так! — А. Б.); нельзя читать его без удивления; какой-то благоуверенной грусти; лсный, простосердечный слог его глубоко трогает, когда вспоминаешь при чтении, что писавший это письмо с такою беззаботностью через час уже лежал умирающий от раны».

«Умиление», «благоговейная грусть», «простосердечный слог»... Это уже не совпадало с моими чувствами. Тут уже естественно просматривалась дань унизальному жанру такого письма, предназначенного для прочтения и отцом, и не только отцом поэта. Сейчас, перепечатав цитату, я ловлю ее автора с полничным на преувеличении: умирающий Пушкин на снегу — это не через час, а через пять после письма Ишимовой; часы эти: час дня — выход из издартыри, четыре — выезд к месту дуэли, ползатого — прибытие на место... — часы эти расставлены тем же Жуковским в том же письме буквально на следующей его странице. Преувеличение это эмоционально и естественно, опровергать в нем нечего. Однако значительное письмо Ишимовой для самого Пушкина так и остается за семью печатями. Куда

отсылали все на ту же дуэль... Пластинка эта заскочила так давно! Не совпадает ли, пусть и в ослабленной проекции, такое наше согласие с его смертью — с тем согласием, проявленным тем обществом, которое нами так осуждено?

Никто, как Пушкин, исходя из того же, им и не им прослеженного единства Музы и Судьбы, не переживал с той же силой сознание выполненности своего дела в этой его жизни, потому что никто и не видел еще целиком того здания, которое он строил с не нам доступной последовательностью. Много раз описаны, с самыми разнообразными акцентами смонтированные, обстоятельства его последних лет; и двор, и долги, и царь, и Дантес, и невозможность заняться своим делом. Они осмыслились в той или иной степени каждым исследовавшим или для себя вчитывавшимся в наследие и судьбу поэта И с обстоятельствами этими невозможно не согласиться: они невыносимы. Но невыносимы они прежде всего потому, что, почти достроив свое «здание» (обозначим так систему творчества, ограниченную высшим назначением). Пушкин получил нежелательную возможность полностью «предаться» этим обстоятельствам, никогда до сих не бывшим всей его жизнью. Конечно, Пушкину всегда оставалось «что делать». Но Пушкин-издатель, Пушкин-историк, даже гениальные Пушкины — критик и прозаик, никак не уравниваются нам Пушкина-поэта, в котором прежде всего и выявлялось великое его назначение и поприще. Замечательная поздняя лирика Пушкина, не известная при его жизни, была уже в значительной степени «запредельная», за пределами того, что так точно обозначалось в нем как единство и целое. Она уже не вычеркивалась, но и не публиковалась. Вот три его последние надежды на осень: «Видно, нынешнюю осень мне долго в Болдине не прожить. <...> Погощу еще немножко. <...> Распущу ли; коли нет — так с богом и в путь» (1834). «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (1835).

«Я рассчитывал побывать в Михайловском — и не мог. Это расстроит мои дела по меньшей мере еще на год. В деревне я бы много работал; здесь я ничего не делаю, а только исхожу желчью» (1836). Надо полагать, что обстоятельство Пушкина-поэта, завершающего свой непрерывный 20-летний путь, и были его основной трагедией, которую, однако, в силу несоизмеримости уровня, никак нельзя обозначить бытующим понятием «творческий кризис». И как все то же великое единство творчества и судьбы проступают тогда и «обстоятельства» его трагедии.

О БЩИЙ характер всех воспоминаний и свидетельств о Пушкине последовательно противоречив, они постоянно взаимоисключают друг друга. Подлинный Пушкин ни разу не умещается ни у кого в характеристику (хотя бы в той мере, в какой «уместился» у самого Пушкина на полутора страницах Грибоедова). Пушкин всегда остается между этими свидетельствами, как проекция их взаимодействия, поблескивает в тени этого взаимодействия, напоминая

Между его живым умом и верой в приметы как раз есть связь. Есть даже такая связь с его способностью глубоко, исторически мыслить. Ощущение Судьбы абсолютно связано с ощущением Назначения. Вмешаться в нее, исказить означало для Пушкина самую большую угрозу — неисполнение Назначения. Стоять перед проблемой выбора для человека, прислушивающегося к бинениям Судьбы — задача во много раз более сложная и опасная, чем обычный страх за свою жизнь или благоденствие. Сличение былых судеб со своей, едва проступающей сквозь непрерывность жизни, проекции представление о своей судьбе на более современные или не сложившиеся судьбы не могут дать желанного ответа (потому что судьба — только своя и именно своя), но способны отточить мозг историка до уровня узавания и даже прозрения. Не слепая вера, а постоянное припадание «чужим умом» к пульсу судьбы — вот что суеверия Пушкина. Примета — намек, напоминание о том, что, кроме осознанной нами в данный миг закономерности, всегда есть накрывающая ее высшая. В Пушкине-историке всегда это было; допущение еще более глубокого осмысления, чем то, которого он достиг, — иначе не было бы ни «Полтавы», ни «Медного всадника», где не только над героями, но и над автором простирался точно переданный порок тайны. «Так вот где таилась погубель моя!» — Олег наступает, между прочим, на weisser Kopf (белую голову), предназначенную гадальщицей самому Пушкину; «Вдур слабым манием руки на русских двинул он полки» — Карл уже ЗНАЕТ о грядущем ему поражении. Историческое лицо у Пушкина всегда наделяло способностью и предчувствию и сверхвидению — они тоже люди Судьбы. И, конечно, Петр... С Петром у Пушкина род личных отношений, и не только через прадеда арапа: Пушкин возводит поэтическую судьбу в ранг исторической, он сличает их, они для него сравнимы. И в то же время: «Там же выронил я серебряную копеечку. Если и ее найдушь, и ее перешли. Ты их счастливо не веруешь, а я верю», — пишет он другу... Трогательно и страшно: года через полтора он напишет «Медного всадника». Пушкин — это Петр и Евгений одновременно; но он нечто большее, он — Пушкин.

И ТАК, в Судьбу нельзя вмешаться, руководить ею, а принимать кардинальные решения — почти всегда ошибиться. Остается одно: жить естественно. Что Пушкин и делает и всю жизнь, и каждую секунду. Он изо всех и из последних сил сохраняет естественность поведения в усугубляющейся неестественности чудовищной ситуации. Это приводит к кризису. Пушкин бросает вызов.

И успокаивается. В этом меуаристы, видевшие его после вызова, сходятся почти все. Весел он и в утро перед дуэлью. Весел! Неужто это радость перед концом? Облегчение изжившего себя человека?.. Известно мнение его сестры, что «если бы пуля Дантеса не прервала нити его жизни, то он немногим бы пережил сорокалетний возраст». Так она оценивала его физическое состояние. По словам Е. Н. Вревской, Пушкин сам сообщил ей о своем «намерении искать смерти». Убедительно в этом свидетельстве и то, что Пушкин видит будущее и на вопрос о детях раздражительно отвечает: «Ничего, император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство». Как мы уже отмечали, а свидетельств о Пушкине, даже если они непредвзятые, часто кому и как важнее, чем что он говорит. Так и по этому свидетельству так и судить, устраивает ли Пушкина так точно прозреваемое им бу-